

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

Спросил, как видно, глупость, потому что Данкин в сердцах сказал: — Души не души, хоть задуши! Разве так важно, каким словом что называется? Мать моя, покойница, царство ей небесное, Пелагия Тихоновна, всю жизнь молоток называла — «толомок», и ничего, век прожила и всегда его по назначению использовала. Одно — китайского или корейского, уже не помню, деятеля и вовсе по-русски матерно называли, а по-ихнему наше, выходит, матерное слово понималось самым расчудесным образом. Дались тебе слова.

«Ну, подумал, — тут ты, Данкин, и виши!» И такое торжество меня охватило, словно передо мной вовсе не сосед, а ненавистный мне Чубайс! Куда подевалось возникшее было сочувствие к Данкину. «Нет, — подумал я, — таких философов нужно на место ставить!»

— Ты путаешь слово, — говорю ему профессорско-лекторским тоном, что у меня бывает, когда я точно знаю предмет. — Так вот, — говорю ему, — ты путаешь слово и его звуковое оформление, фонему. За словом стоит понятие... — И тут я спохватился, кто сидит рядом и чего я этому слесарю втолковываю... Нелепость очевидная, как ребенку рассказывать



Рис. Андрея Горшкова.

о теории относительности, но меня понесла инерция. — И вообще, — тут я скокнал все, — философия слова не такая простая штука. — Я, было, потянулся к книжному шкафу, чтобы достать Лосева «Философия имени» и тем самым подкрепить свои слова, но Данкин опередил меня:

— А у меня своя философия, хоть горшком назови, но в печку не ставь!

Вот и поговори с ним?! Сам забрел в дебри смысла, меня в них затаскали, и оба дураками выглядим.

— Ну, пусть, если хочешь, душа, — согласился Данкин. — Ну и что из этого, что мы сказали — душа?

— О, много! — вырвалось у меня само собой...

— Этак и я могу сказать — «многое». Сказать можно, что вздумается. Я вот, так же глубокомысленно скажу — «вечность», а что за этим словом стоит? Что это такое — «вечность»?

Это когда времени нет, что ли? Но когда времени нет, то и нет ничего! Решительно ничего, а в особенности человека! Как же он в «вечности» может сказать: вчера, мол, было или давно. Сейчас есть и будет завтра, или в будущем? Брякнут с потолка новость что и доволны, мы, мол, все объяснили, словом назвали и будьте теперь вы довольны! Помню, в школе учителя по геометрии изводил. Он говорит: «Точка есть то, что не имеет ширины и длины». А я ему: «Аркадий Владимирович, я в тетрадь точку поставил, а у неё есть ма-а-ленькая «длина» и «ширина»». А он мне: «Это как будто бы она не имеет длины и ширины».

Очень меня с той поры, занимал вопрос о «как будто бы». Я тогда подумал своим детским умиком, что взрослые люди играют в игры, как мы, дети, играем: «Давай мы как будто бы станем мамой и папой. Давай, как будто бы это машина, а я буду шофером, а ты кондуктором». Старик уже, а думаю, что в том, детском моем вопросе глубокий смысл есть. «Давайте жить так, как будто бы нет никакой у человека души». «Давайте жить так, как будто бы вся человеческая жизнь заключена в пределах его рождения и смерти». «Давайте жить так, что видимое нами и есть единственная реальность, а все иное — плод больного воображения». И еще тысячи тысяч таких «как будто бы». Или начнем сочинять сочинилки о том, что такое душа и где она находится, и опять, «как будто бы» мы это знаем...

— Эзя ты вокруг да около крутишься, — прервала я Данкина, — ты прямо скажи, считаешь, что в человеке есть часть бессмертная? — Я еще еще подзревал его в том, что он наслушался всяких эзотериков, словом, всякой околонушной чепухи. А сказать по правде, он окончательно меня запутал. Так запутал, что я чувствовал,

что говорю не меньшую, если не большую глупость, чем Данкин. Ему-то было проще, он пришел с уже готовыми, выстраданными, обдуманными мыслями, а меня застал врасплох. Я о таких вещах не думал.

— И опять ты поспешил с выводами и заключениями, — начал отчитывать меня Данкин. — Ничего такого я не считаю. Это попытка считать, да чокнутые всякого рода. Разве я говорю о том, что у человека есть бессмертная душа, что Вселенную создал Господь Бог, что есть грех и есть святость? Мне покоя не дает вот это, «как будто бы» и вот смерть не за горами, а я на главный вопрос ответа не имею. У кого его взять? У твоего Монтеня? Так ведь сам ты говорил, что ни философ, то собственное понимание мира? Выходит, сколько людей, столько и истин? Тогда, получается, сколько людей, столько и реальностей?

— Ну, это ты хватил через край! Будь так, то все бы рассыпалось, ни языков, ни государств, ни племен, ни народов...

— Вот и я говорю, что такое невозможно, а возможно только единственное: полнота реальности, в которой бы имелось место и тому, что мы держим в руках, то есть для практики жизни, и тому, что случилось со мной в тайге, и всем-всем свидетельствам

до чего мне в век недоуматься. — Ты и сам говорил, — мне показалось с изрядной долей ехидцы сказал Данкин, — что такая индивидуальная реальность разбивает все человечество на отдельные атомы...

Мне стало неловко оттого, что я крикнул на Петра Алексеевича и даже ехидство его пропустил, и уже примирительным тоном ответил ему:

— Не совсем так, то есть я хочу сказать, что «находить» они ответы, по крайней мере, понимаемые внутри религиозного сообщества, — ну куда уж разумнее ответил? Даже не свое сказал, а вычитал в толстом журнале, и что же?

— Ну и что это меняет? Пусть не миллиард реальностей, а по числу религиозных конфессий, все равно это — не истинная реальность. Истинная реальность может быть только такая, в которой есть место всем религиям, и в том числе этим, «дурдомовским» пониманиям, что скрываются под разными названиями. Повторять, что ли? Подлинная реальность должна включать в себя абсолютно всё! — последнюю фразу Данкин произнес чуть ли не по слогам, с нажимом на «абсолютно всё».

Решил я тогда сказать как отрезав, чтобы уж все ясно стало.

— Тогда, — говорю ему, — ты ничего не найдешь и все твои поиски обречены на неудачу. Загонишь себя в тупик, в тоску беспросветную...

— А разве я не понимаю, что ничего не найду? — спрашиваю он меня, а глаза у него так и впились, так и жмут, словно я должен ему червонец, а не отдаю, зажалили. — Еще как понимаю! — говорит Данкин. — Понимаю, но ничего с собой поделать не могу.

Замолчали мы тогда на минуту, больше. Он сидит, руками подвинувшись бумажку складывает и разрывает пополам, и так меня эта процедура заинтриговала, что когда Петр заговорил, словно током пронзило.

— Это род болезни... Старческой, наверное... А может быть, какой-то наследственной, ведь идет она от моего детского «как будто бы». С чего это было нужно мне спрашивать учителя о точке? Никто ведь не спрашивал, а мне этот вопрос покоя не давал. Прислушиваясь и подглядывая за собой — ан нет! Не я это подумал, а сама по себе, как бы откуда-то пришла мысль, а уж потом эту мысль думаю, думаю, пока другая, вот так же, самолично и неожиданно, эту первую не вытолкнул.

Ладно, решил я, будет тебе новомодная теория, может, на ней и останешься. Что-то нужно было делать с Данкиным. И говорю ему:

— Есть представления об информационном поле Земли...

Но не успел я договорить, как Петр Алексеевич воскликнул:

— Ах, оставь ты эту наукообразную чепуху! Точно слушать? Читал я об этом!

Он тут же встал с дивана и направился к выходу. В коридоре обернулся ко мне и сказал:

— Все это объяснения непонятного неизвестным. Этак и я могу чего-нибудь такого выдумать, да и назвать это, мной придуманное, каким-нибудь звонким словом.

Данкин стал обуваться и несколько раз совал ногу мимо ботинка, хотя у меня в коридоре всегда была ввернута яркая лампочка. Когда напаял свои башмаки, разотпелся и заявил мне:

— Нет, я монтеней читать не стану, не навязывая мне напрасно, я к себе прислушиваться буду, авось, что там, в себе, и услышу. Вот такая у меня философия — в себя вслушиваться.

И ушел он в тот вечер от меня. По сути, это были последние слова Данкина. Зачем приходил? Не пойму. Потянулись дни за днями, недели за неделями, и как прежде, когда нос к носу столкнемся, «здравствуй» и «привет».

Как-то сказал: — Чего, Петр Алексеевич, не заходишь?

И что же получил в ответ? А получил я вот что.

— Не хочу, чтобы ты просыпался, сти, как спит все!

И исчез за своей дверью. Хорошо доморощенный Лев Шестов? Это надо же, он, видишь ли, проснулся, а мы все, выходим, спим?

Умер он так, как умирают нынче одинокие люди. Мужик залетал в тлеком потянуло. Я в квартиру не заходил, напротив, ушел куда подальше. Очень мне не хотелось видеть Петра Алексеевича каким-то другим, чем он запомнился мне. И вообще, не люблю я «похоронного дела» до крайности, а особенно не люблю слов и слез. Ты при жизни его поплачь да скажи все эти слова, чего же после смерти базлат и слова разные говорить? Тут, как говорится, «прощались».

А разговор тот так врезался в мою память, так беспокоил меня, что сон потерял. Ну, думаю, не отвяжется от меня Петр Алексеевич, царство ему небесное, до тех пор, пока я не напишу все, как оно было меж нами.

И что вы думаете? Написал, и сон вернулся, и на душе появилось облегчение, словно и правда он, оттуда, требовал от меня, чтобы я написал.

Глупость, конечно, самовнушение, а, поди ж ты, помогло. Только, сказать по правде, через ту трещинку, что возникла в моей душе, нет-нет, да и потянет сквознячком ледяным и словно кто-то меня спрашивает: «А вдруг и на самом деле все, что вокруг тебя, да и сам ты, всего лишь «как будто бы»?

КРЕМЯ

ПОЭЗИЯ

НОВЫЕ СТИХИ

«Черномазая весна»

Дмитрий КЛЕСТОВ.

Когда заскрипит, запорошит
Азартная зимняя стужа,
В запасе оставшийся грошик
Потратит старик на пичужек.
В своей домотканой рубашке
Он брякнет железной посудой,
Голодные, глупые птицы
Слетятся к нему отовсюду.

Над крышей старинного дома,
Над серой оградой дощатой
Вспорхнут переливчатый гомон
Воспрянувшей стаи пернатой.
В начале прохладного мая
Все птицы гнездятся, наверно,
Людская толпа небольшая
Его захоронит под вербой.

Тому благодарный свидетель
Я видел пригложее чудо —
На вербу воробышки-дети
Слетелись к нему отовсюду.

А в Сибири моей — слухи,
Да весна вовсю черномазит,
Прилетели грачи — духи
Из горячих, горящих Азий.

Приотил их великан-тополь:
Разразились небеса граем,
Корма во поле полно — лопай,
Да пробудет пусть Сибирь раем.

Ничегошеньки болезным не жалко,
Вейте пьездыхшек свои тыщи,
А вернутся холода — свалка,
Даже свалка одарит пищей.

Оборванец

Радужный и смутный вечер
В неряшливой тишине,
Расхристаный человек
Шагает навстречу мне.

Насупленно брови хмурит
В оскле фискалы рот.
Он курит, конечно, курит,
А фарт улыбнется — пьёт.

Не поздно ему, не рано,
Живёт он самим собой,
Выпавает подранок
Бездомный к себе домой.

Покудова не опасен:
Есть крыша и стены, и дно —
В частотной теплотрассе
Осиное вьет гнездо.

Советская «фазанка»

На работу идут «троботёсы»,
В шепелявых зубах папиросы,
Вороватыми смотрят глазами —
Топорки у них за поясами.

С Волги-матушки, тихого Дона
Безотцовщина, да из детдома.
Государственные фуфайки —
ФЗУшники это, хобзайки.

Присмотрела Отчизна, пригнала
Для насущного, общего дела.
Есть жильё и кормёжка от пуза
И великая стройка Союза.

Я хлюю дом в реликтовом бору,
Надежду глупую в душе забавно хлюю.
Не взятое от жизни — доберу,
Не отданное — выпущу на волю.

Я в этой жизни сам себе с усам:
Нет претенденток — я не претендую
На кошелек, на милых сердцу дам,
Знай, пью себе водичку ключевую.

Через лужайку звонкая тропы
Бежит к ручью — извечному движенью.
Душа моя, однако, не слаба
К большой любви и жертвоприношенью.

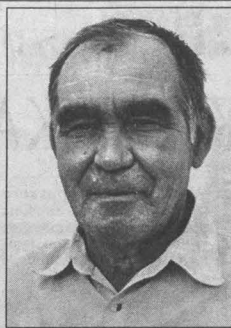
Я кланяюсь, покамест, топорцу,
Как мудрому языческому деду.
Я хлюю дом в реликтовом бору
И никуда отсюда не уеду.

Рисунки Андрея Горшкова.



Об авторе

Дмитрий Петрович Клеостов живёт в Гурьевске. 1942 года рождения. В армии был танкистом. Потом работал в геолого-разведочной партии, в шахте. Талантлив не только стихотворством. Умеет многое из того, что можно сделать руками — к примеру, ностальгический дом. Автор нескольких книг. Посаденная («Иродов лог») вышла в позапрошлом году приложением к журналу «Огни Кузбасса». Ждёт московского утверждения в членство Союза писателей России.



Март

Позолотели пряди гор —
Проталинки на белом снеге.
Колхозный сторож Исидор
Провёл техминимум телеге.

Поправил ступицы колёс
И дехем старенького плуга,
Подковы добрые принёс
С каким-то потаённым звуком.

Затем расслабился домой
Зашёл к старухе ненадолго,
И глянул в «ящик голубой»,
Как на вчерашнего парторга.
Как жить, тот ящик без конца
Народу русскому диктует.
Откупал Исидор салца,
Попил кваску и... в ус не дуёт!

Постарели, разъехались, умерли
Все родные в деревне моей.
Я отрадную думу подумую
Да в жилетку поплачу о ней.
Отоньковым распадком — к заутрене
Через старый семейный погост,
Где покоится самая мудрая
В чистой кипении белых берёз.
На краю деревеньки заброшено
Приспопаматное жильё,
Я бреду, сединой припорошенный,
Прощаю, да не жаль будилье.
Распахну неказистую горенку,
В красный угол иконку верну.
Может, счастье беспечной горлинкой
К моему возвратится окну.

В родном доме
Присяду на порожке.
Голландка-печь —
Немеркнущий очаг —
Вдыхает мой дымок
От папиросы,
Как будто тоже
Курит не взаты.

А её груди
Потрескивают угли
Моим бесценным думкам
В унисон.
Как будто бы
Сослились друзья, подруги
Далеких светопамятных
Времени.

Ведут неторопливую
Беседу,
Верша свои чистилища
И суд.
Им похвались,
На жизнь свою посетуй,
Они — друзья,
Они меня поймут.

И, верно, скажут:
Хватит куролесить,
Не мальчик ведь
Мотаться тут и там.
Из дюжины
Недожженных профессий
Ты выбери поближе
К дому, к нам.

Душа моя котёнком
Разморится
У милого, родного
Очага.
А завтра старший
Мастер постучится.
И... укачу я
В белые снега.

Баллада про старую шахту

Мы в старую шахту пробрили забоем,
Бабахнули взрывом над вечным покоем.

Разбойное эхо отозвалось глухо
Величием горного русского духа.

Где золото рыли мятежные предки,
Мы ставим стопами узорные метки.

Своими руками ощущали крепи,
Своими сердцами поучали трепет.

По тесному шпелю прошлись раскорячкой,
Померились силой с демидовской тачкой.

На тачке нескромная чья-то гравюра,
Написано вязью: «Работай, ты-дур!»

Баллада древняя, цепки, колодки,
А всё остальное, как в нашей проходке.